

Чуров и Чурбанов

Автор:

[Ксения Букша](#)

Чуров и Чурбанов

Ксения Сергеевна Букша

Роман поколения

Ксения Букша (р. 1983) – автор получившего премию «Национальный бестселлер» романа «Завод "Свобода"», биографии Казимира Малевича, сборника рассказов «Открывается внутрь» о всевозможных человеческих судьбах. В её прозе сочетается жёсткий реализм и лиричность, юмор и гротеск.

«Чуров и Чурбанов» – полный киношной движухи короткий роман с непредсказуемым сюжетом и густой, мрачноватой питерской атмосферой.

Живёшь-живёшь, и вдруг выясняется, что у тебя есть двойник, чьё сердце бьётся синхронно с твоим. Да не просто двойник, а твой бывший одноклассник: отличник или, наоборот, подозрительный тип, с которым у тебя решительно ничего общего в жизни быть не может.

Ничего, кроме смерти.

Содержит нецензурную брань.

Ксения Букша

Чуров и Чурбанов

1. Чёрное сердце

Февральским тёплым днём ученик Иван Чуров шёл по улице – сляк-сляк, сляк-сляк. Был он рыхловат, тяжеловат, одет бедно. Сердце его колотилось как бешеное. Тротуары тонули в сыром снегу, на дороге разлились моря, в которых отражалось высокое светло-серое небо.

Скользя на ступеньках, Чуров спустился по лесенке в подвальчик канцелярского магазина. Ноги разъехались, и чтоб не упасть, пришлось Чурову ухватиться за ручку двери, распахнуть её и стремительно ввалиться внутрь. У дверей стоял баллон с гелием для шариков. Чуров с разлёту так наподдал ему дверью, что баллон загудел.

– Потише! – сказала продавщица.

– Ой, простите, – извинился Чуров.

В магазине было тепло, и Чуров мгновенно вспотел. Он стянул шапку, но это не помогло. Сломанную молнию на куртке мать застегнула и зашила, так что снять куртку Чуров мог бы только через голову. От тяжёлого рюкзака ломило плечи. Молния на сапогах давно разошлась, её зашить было невозможно, поэтому ноги у Чурова всегда были мокрые.

Чуров сделал несколько нерешительных шагов к витрине. Пахло карандашами. Чуров любил этот запах. По вискам потекли капли пота.

– Не опирайся на стекло, – сказала продавщица.

Чуров прокашлялся.

– Вы чёрную краску по отдельности не продаёте? Без всех других цветов?

– Нет.

– А чёрную бумагу из пачки? Только чёрную, отдельными листками?

- Нет.

- А это у вас есть, - соображал Чуров, - ну, такое, через что срисовывают?

- Копирка? Нет. А что тебе нужно, для чего?

- Мне нужно что-то чёрное, - сказал Чуров. - Мне нужно сделать чёрную бумагу. Только чёрную, другие цвета не нужны.

Чуров так и сказал - «мне нужно». Прозвучало хорошо. Не «я хочу», не «я собираюсь», а вот так: «мне нужно». Меня влечёт неведомая сила.

- Тушь возьми, - предложила продавщица. - Она дешёвая и чёрная, - и потрясла булькающим пузырьком.

Чуров обрадовался.

- Очень чёрная? Совсем?

- Да.

- М-м! - сказал Чуров.

Это был фирменный звук Чурова - тонкое не то поскрипывание, не то мычание сквозь сомкнутые пухлые губы. Такого высокого, тихого звука и не ждёшь от него, а между тем не было ничего характернее; все, кто знал Чурова, знали и его «м-м!». Это «м-м!» звучало и в момент догадки, совпадения, найденной истины; и в моменты разочарования, разоблачения; «м-м!» могло быть саркастическим, уважительным, каким угодно, сразу всяким, - и при этом бывало всегда абсолютно одинаковым. Все оттенки смешивались в этом звуке, все интонации можно было услышать одновременно.

Тушь стояла даже дешевле маленькой лапши, которую Чуров грыз всухомятку по дороге из школы вместо обеда. И она была гораздо чернее чёрной краски. Тушь была такая чёрная, что просто выжигала свет на своём пути. После применения туши бумага должна была стать адски антибелой. Чуров положил тушь в карман и двинулся к выходу. Его кольнуло где-то внутри, но он даже не

понял – страх это в сердце или жгучая капля пота на груди. Чуров распахнул дверь и, скользя, вышел в подмёрзшую слякоть.

Тут же он попал в неожиданный хоровод карнавала. То ли кришнаиты, то ли митинг, то ли Масленица или иное шествие – бубны, райские птицы и ленты на шестах, яркие шапки, дудки, расшитые золотом штаны и плащи, ало-фиолетовые платья, кружева, топот и выкрики. Чурова затолкало, повлекло. Поневоле ему пришлось попадать в ритм, он сунул руки в карманы и солидно заприплясывал. Веселящийся народец был весь одет по-весеннему – ни курток, ни шапок, тельняшки да майки.

Сверху послышался грохот. Чуров отпрыгнул, врезался в девуцу с розовыми волосами, поскользнулся, оба схватились друг за друга. Кусок льда раскололся о тротуар там, где только что прошёл Чуров.

– Ебанись! – весело прокричала девушка сквозь шум проспекта.

Чуров отряхнулся и пошёл дальше своей дорогой, и тут снова его кольнул страх. Он ощупал тушь в кармане и представил, какая она чёрная. Нет, решиться на такое – не для чуровской храбрости. Но и не решиться он не мог.

Так он и думал надвое, и не думал всю дорогу, мимо всех водосточных труб, из которых по сосулькам лила нескончаемая вода, думал, поскользываясь в лужах, серый, сырой, мокрый и взъерошенный Чуров. Так думал он и продолжал так же думать, восходя к себе на седьмой этаж, крутя ключ в раскорябанной дырке, шлёпая по коридору коммуналки, стягивая ботинки, сваливая на сторону рюкзак, стаскивая куртку через голову. Думал, входя в комнату, мимо лежащей бабушки, не здороваясь, всё равно ничего не понимает, – садясь за стол, а в телевизоре между тем пели:

– Два мини-бургера с картошкой! Попробуй в KFC! Ты голоден немножко! Зайди перекуси! Два минибургера с картошкой, обеда нет вкусней! В KFC перекуси за шестьдесят рублей!

Чуров поставил пузырёк с тушью на стол и потянул носом воздух. Бабушке следовало поменять подгузник.

Никаких памперсов ещё не было. Можно было их, конечно, достать где-либо за границей. Но мама Чурова не могла бы их достать. А бабушка Чурова уже начала писаться и какаться. И это доставляло маме Чурова массу хлопот.

И вот Чуров придумал сам, сам же и сделал, сшил на машинке двадцать пять удобных многоразовых непромокаемых памперсов в девчонском кабинете труда. Для этого он пользовался брезентовыми мешками и многослойным материалом собственного изготовления, который испытал на себе.

Это было первое самостоятельное деяние Чурова. До этого он только слушался старших.

Возможно, ему хотелось что-то сделать для бабки, хоть он и клял её про себя распоследними словами. Бабке давали «голопердин» (как называл его про себя Чуров, а на самом деле он назывался «галоперидол»). Чурову не было жалко бабушку, а вот маму – очень, так жалко, что он иногда плакал по ночам. Ну как плакал – всё ж в одной комнате – слёзы медленно выдавливались и текли, минуя предгорья чуровских щек, прямо в уши, откуда Чуров их с трудом выковыривал своими короткими белыми мизинцами.

Иногда утром Чурову казалось, что бабка наконец отошла, но, увы, она продолжалась. Когда ж ты отмучаешься, сука падла, – думал Чуров сугубо про себя, ему было стыдно за такие формулировки, но маму жалче. – У мамы нет жизни, зачем ты это делаешь, я так люблю маму, – молча как бы говорил Чуров бабке, выговаривал ей с негодованием, а бабка как бы молча отвечала ему – ну что поделаешь, Ванечка, никак Бог не приберёт, самой тошно уже.

Воняла не только бабка. Чуров тоже начал вонять, пахучий подросток Чуров, его носки и он сам, вечно потный, едкий, рыхловатый, специфический. Пованивали кеды, рюкзак, физкультурная форма. Сколько ни мойся, сколько ни распахивай окно комнаты в дикий космос. Там виднелись ржавые крыши, верхушки ржавых тополей, зимние подмороженные синеватые стрехи и ржавые розочки-улитки водосточных труб. – Бабуля, – кряхтел Чуров, поворачивая старуху на бок. – Ну что такое, помогай давай.

Телевизор показал солнечные башни и арки города Санта-Барбара. Чуров сел за стол, положил голову на руки и ещё раз, сбоку, посмотрел на пузырьёк. Тушь была китайская. На этикетке были нарисованы цветы сливы и циркуль.

Чуров выдрал бумагу из середины тетрадки по географии и открутил крышку пузырька. Кисточки у него не было. Но рисовать он и не собирался.

* * *

– Я знаю, кто это сделал, – ровным голосом сказал историк где-то наверху.

И небо не упало на землю. А чего ему падать? Ну, знает и знает. Конечно, народ в классе стал переглядываться и коситься друг на друга, но без особого энтузиазма.

Чуров же притворился, что продолжает разглядывать сосульки. Той зимой сосульки выросли ого-го. Всё потому, что погода постоянно менялась. То дождик, то снег, а то стужа. Вот и выросли толстые, длинные, как удавы в тропических лесах. Согнутые, вогнутые и выгнутые, скрученные, то припорошённые снегом, а то прозрачные, целый лес сталактитов свисал с кровли.

Чуров разглядывал сосульки и мысленно проводил по ним палочкой, и сосульки делали дин-дон-дон. Чуров знал, что в реальности они бы не смогли так звенеть.

Историк остановился возле парты Чурова. Чуров, притаившись за сосульками, наблюдал карман его штанов.

– А что сделал-то? – голос четвёрочки Насти с другой стороны буквы «П». Парты в кабинете истории стояли буквой П – это историк ещё в перестройку перестроился. – Что вы имеете в виду?

Историк, ни на кого не глядя, приоткрыл окно. За окном мало-помалу начинался день. 14 февраля.

– Что? – рассеянно переспросил историк. – Вы знаете один кабинет тут рядом. На моём этаже. Так вот, когда я рано утром пришёл, на двери кабинета было наклеено...

Историк не смотрел ни на кого. Гигантские сосульки свисали с карнизов, с водосточных труб. Огромные обледенелые улитки.

...ЧЁРНОЕ СЕРДЦЕ, – услышал Чуров ровный голос историка. – ЧЁРНАЯ ВАЛЕНТИНКА.

А чуровское собственное-то – бух, бух. Чуров пригнулся низко над партой. Ну ровно котик над банкой с остатками сметаны. Если историк говорит, что знает историю, – то историк историю знает. А почему не выдаёт? Почему не выдаёт? А откуда знает-то? Ой, сейчас и все узнают, так покраснел Чуров.

– Кое-кто из вас, – повторил историк, – и я знаю, кто именно, но не скажу, – приклеил на дверь одного из кабинетов здесь, на четвёртом этаже, огромное сердце из чёрной бумаги. И на нём было написано белыми буквами: «У вас нет сердца».

Тишина. Гробовая. Никто не спросит – на чей кабинет. Все догадались.

* * *

Одна она такая. Валентинка. Авдеевна. Географиза. С густой шапкой пружинистых кудрей по брови. Низкий лоб. Квадратные плечи. Солдафон в юбке и рваных туфлях. Резкий голос. Психованная. «Поставлю тебе кол и ещё в лицо плюну».

Доводить Сашу было ни в коем случае нельзя. Саша и так собиралась уйти в ПТУ, но ей оставалось ещё полгода. Поэтому Саша кое-как училась. Двойки и тройки на неё так и сыпались. Её все учителя называли тупой и неспособной, и Саша сама в это верила. А ещё у Саши было четверо младших, с родителями всё печально, Саше приходилось зарабатывать, чтобы в детдом всех не забрали. И чем Саша зарабатывала? Немногие знали чем – да все знали, чё там. И это было немисливо, но Саша не грустила, а, наоборот, хохотала и высмеивала тех, кто смел о ней хоть слово сказать.

Но вот блёклый февральский день, и даже невидимое солнце стоит над крышами. Саша на задней парте грызла ручку и не думала ни о чём. Рядом с ней сидела её подруга Ирка и украдкой нюхала запястье, которое она надушила в бутике на Невском. Географичка расхаживала перед доской и зачитывала из учебника про климат.

– Дай понюхать, – прошептала Саша.

Ирка неловко повернулась, и они с Сашей оказались под партой. Упали вроде. Как это так вышло, даже трудно сказать. Наверное, дело в том, что в течение осени Ирка выросла на семь сантиметров. И ещё не привыкла к своим новым размерам.

– Ну ты даёшь! – сказала Саша под партой.

Географичка прервалась и заложила учебник пальцем.

– У-литина! Повтори, что я только что читала.

Саша вылезла из-под парты, – а двигалась она мелкими, резкими движениями, как ведьмочка Кики из мультфильма, – поправила мини-юбку и привычно захлопала глазами, изображая дуру. Тушь хлопьями осыпалась с ресниц.

– Ну хотя бы – о чём я читала вообще сейчас? Тему назови?

– Про климакс.

Народ, конечно, заржал.

– Про что?! – страшным голосом переспросила географичка.

Саша растерянно обернулась. Ну надо же было сказануть такое! Вот так ляпнула!

Валентинка схватила железные ножницы за сомкнутые лезвия и той стороной, где кольца, нанесла учительскому столу несколько оглушительных ударов. Смех был придушен. Географичка закатила прозрачные выпуклые глаза.

– К доске, Улитина. Выйди-выйди. К доске, к доске!

Саша помедлила.

– А можно с места, Валентина Авдеевна?

– Нельзя! – злобно развеселилась географичка. – Нельзя! – и развела руками. – Выходи, Улитина! К доске!

– Я не знаю ничего, – сдержанно. – Поставьте мне два.

Саша сказала «два», а не «двойку», и географичка взорвалась. Двойка – это полное поражение, а два – уже торговля. Двойка – смерть, а два – это жизнь, какая-то другая, загробная, но жизнь. Саша давно решила для себя, что её жизнь загробная, но упорно продолжала в эту загробную жизнь верить. Географичка не верила в загробную жизнь. Она верила только в гроб. Без никакой свечки.

– Два? А за что тебе два? А ты заслужила? Два – это, между прочим, тоже оценка, Улитина! Это значит, что тебя оценивают как ученицу и ставят тебе определённую оценку за то, что ты... То есть, в пределах определённой шкалы...

Саша бешено заморгала.

– А ты, Улитина, ты уже давно вне пределов этой шкалы и вне пределов школы! – Довольная каламбуром, географичка вытянулась вперёд и мелко замахала руками, как будто плыла. – Тебя уже и ученицей-то назвать нельзя, тебя уже надо называть как-то по-другому. Но я не буду, потому что не люблю нецензурно выражаться.

Саша была крепкий орех, но тут и она не выдержала: выскочила из-за парты и хлопнула дверью. Без вещей, просто выскочила, чтобы не рыдать на людях. Не так красиво, как в фильмах про американскую школу, а как секретарши, которых начальник-урод довёл до ручки. Плакать в вонючем туалете, потом умываться холодной водой, тщательно смывать потёкшую тушь, сморкаться, глядеться в зеркало, стряхивать капли воды, прихорашиваться, возвращаться в класс и сидеть остаток урока, а что поделаешь.

И никто ничего. Саша была им благодарна. Здорово, что всем пофиг. А всем и правда было пофиг, даже Ирке. Но, как выяснилось, не всем.

* * *

– Конечно, я эту гадость сразу снял. Она его не увидела, – ровными порциями ронял историк, шагая по кабинету. – Я только... хочу сказать... этому человеку. Да. Я понимаю, почему ты так написал. Но она, эта женщина, она одинока. Ты понимаешь, что такое одиночество? О, ты-то уверен, что никогда не будешь одиноким. И что ты не такой псих, как она. Ты думаешь, что ты – о, ты-то – нормальный. И у тебя всегда будет много друзей, девушка там, жена. Дети. И да, конечно же, так оно и будет, – историк стоял прямо рядом с партой Чурова, но на него не смотрел, вообще ни на кого не смотрел, вполоборота стоял и цедил слова, глядя в окно на сосульки. – Я далёк от того, чтобы защищать её, – Чуров уже с трудом понимал, что говорит историк, никто в классе не понимал его, историк уже не давал себе труда переводить свои слова, – я не буду её защищать, она на самом деле неприятный человек... Но ты зря сделал это...

И он что-то ещё сказал. А Чуров писал в тетрадке карандашом, яростно налегая и закрывая написанное пухлой ладонью: СашаСашаСашаСаша.

Чуров и сам себя не до конца понимал. Он даже не очень-то верил, что это с ним было, тушь и сердце, и ещё клеящий карандаш. Да он сам себя не помнил, пока клеил это сердце, пропитывал его чёрной кровью, вырезал буквы. Потом, когда будет читать про Раскольников, очень хорошо будет его понимать, хотя старуху не мочил, а всего лишь. Но я должен был так поступить, – кряхтел про себя Чуров, чтоб не расплакаться, и кусал щёки изнутри, и налегал на карандаш, и карандаш наконец сломался.

И тогда Чуров поднял голову и увидел, что Саша смотрит на Чурбанова.

Ну конечно же! Кто бы мог ещё удрать такую штуку? Конечно, Чурбанов. Историк считал себя недурным психологом, а Саша себя не считала, но была. Чурбанов же ни на кого не смотрел, он вообще сидел с таким фейсом, как будто в покер играл. Он это умел. Чурбанов и списывал с таким же лицом, и мяч в баскетбольное кольцо забрасывал, виртуоз.

– Ладно, – заключил историк, поглядев на часы и заметив, что история с географией отгрызла от урока семь с половиной минут. – Я закончил. Конечно, никого выдавать я не собираюсь... Надеюсь, тот, к кому я обращаюсь, всё хорошо понял. – Историк глубоко вздохнул, заложил пальцы за ремень и начал: – Пишем тему. Смутное время!

И вот тогда, в последний миг перед тем, как все опустили глаза в тетрадки, потрясённый Чуров увидел гениальную чурбановскую комбинацию.

Он сначала ответил взглядом Саше – молниеносно, – а потом, когда она, медленно краснея, принялась выводить в тетрадке «См...», повернулся снова и посмотрел прямо на Чурова. Сначала в глаза посмотрел, а потом растопырил над тетрадью пальцы, ну чисто – писать собирается. И Чуров посмотрел на свои. И увидел, что они в чёрных чернильных пятнах.

И тогда Чуров снова пригнулся к тетрадке, взялся за ластик, он же стёрка, состирашка и резинка, пригнулся и начал ожесточённо стирать написанные буквы. Стёрка сломалась посередине, и на тетради остались карандашные туда-сюда подпалины.

Чурбанов и Саша делали уроки в машине любовника чурбановской мамы, на заднем сиденье, заваленном пеплом. Потом любовник чурбановской мамы поехал по бизнесу за город, а этих двух посадил на заправке, около заброшенной железнодорожной колеи. Они долго брели по этой колее, в которой росли засохшие, припорошённые снегом растения, колея поворачивала, они замёрзли, потом попытались разжечь костёр, у них ничего не получилось – ну, почти ничего, – а потом всё-таки кое-что получилось, и, пропахшие дымом, они, – и, голодные, они, – и, разжигая, они, – вокруг сгустились коричневые сумерки, снег стал разноцветным, вокруг кирпичные обледенелые развалины, сугробы и обгоревшие стволы деревьев, – были счастливы.

Чуров сидел в заплывшем тепле коммунальной кухни и варил гречку. Мать в комнате орала на бабушку, зачем опять обосралась и хоть бы полслова. Чуров варил гречку, отдыхал и рисовал нефтяные вышки на контурных картах. А на

трубах под потолком оседали хлопья пыли, и эти трубы завывали на разные голоса.

2. Анатомия двуглавого орла

Студенты-медики называли Гербариум или Оранжерея: полуразрушенный стеклянный амбар, поверху с галерейкой, в которой разруха и мороз вынесли все стёкла и куда сквозь щели заметал снежный огонь. Амбар был полон инея, пыли, трухи. От верхних сугробов трещал ржавый костяк крыши. Лифт, ведущий на галерею, повис где-то сбоку гнилым, засохшим на черенке плодом. Здесь читал профессор Ендриков, и читал хорошо. Студенты-медики, те, что добрались сюда сквозь восемь более или менее занесённых сугробами дворов, – дворы то выметенные, вылизанные, озарённые сине-оранжевыми лампами, и там ещё остались пациенты, – то чёрные, провалившиеся, где только тропку видно в молочном скрипучем снегу, – так вот, эти самые студенты, пройдя километр вглубь институтского квартала, сидели все в пальто, шубах и куртках, под верхней одеждой в свитерах, многие в варежках и шапках. Освещение здесь – прожектор снаружи, направленный сквозь крышу вниз, говорят, сам Сорос поставил, лично лазил. Древние парты Гербариума высились выщербленные, в древесно-чернильных прожилках, с лунами выемок для чернильниц. Амфитеатр подступал к самому стеклянному потолку. Чуров сидел как раз там, почти на галерее, и в плохую погоду ему прописывали дробных капель за шиворот, а сейчас он не мокнул – всё насухо замёрзло, и только когда морозный ветер делал «др-рынь» по стёклам над ним, то Чурову казалось, что на Гербариум сел тяжёлый, яростный красный петух и начал своим крепким клювом долбить куда ни попадя – и вот-вот долбанёт либо ему, Чурову, в темя, либо его соседке Агнессе (Аги) прямо по меховой шапке.

Народ набрался, а Ендрикова всё не было. Он частенько опаздывал. В Гербариуме стоял ровный сонный гул. Чуров всё пытался растереть шариковый стержень, катая его между ладонями, дышал на него, готовясь записывать. Вдруг гул резко умолк. Беглый взгляд на доску, висящую в торце, среди трещин краски, густо смазанной побелкой и снова полуосыпавшейся, – и Чуров понял, что у доски-то не Ендриков, а коллега Чурбанов, в свитере и пиджаке, встрёпанный, без никакой шапки. В руках у Чурбанова был мелок, и он увлечённо изображал на доске что-то смешное.

– Дашь конспект по патану? – спросила Аги, поправляя заиндевевшую шапку над каплями пота в бровях. Аги было жарко внутри, а снаружи она подмерзала. – Я не успеваю за ним писать. У тебя такие крутые конспекты.

– Нормальные, – нехотя ответил Чуров.

Все знали, что у Чурова лучшие конспекты на потоке. Чуровским вытянутым, аккуратным, чуть закруглённым почерком без наклона.

– Кхех, кхех! – возгласил Чурбанов громко и постучал по кафедре на манер Ендрикова. – Тема нашей сегодняшней лекции... Тише, господа! – Тема нашей сегодняшней лекции «Анатомия и физиология двуглавого орла, изображённого на гербе Российской Федерации».

По залу пронеслось лёгкое ржание, как на концертах комиков.

– Физиологическая структура тела двуглавого орла, – начал свою лекцию Чурбанов, постукивая мелом по небрежному контуру герба на доске, вроде того абриса, который делают в известных печальных случаях следователи и судмедэксперты, – полна все-воз-можных уникальных, кхех, адаптаций, которые можно назвать выражением ком-пенсаторных возможностей. Двуглавый орёл – конечно, тии... – пичнейший случай дикефализма, при котором, как вы знаете, имеется сращение в области туловища, голов же две или, в ред-чайших случаях, даже ТРИ!

Тут Чурбанов возвысил голос и перешёл на пару секунд от ендриковского тона к передаче «Шок, сенсация» на Первом канале, на что Гербариум истерически разгоготался.

– Но спросим себя! – Чурбанов постучал мелом по доске, унимая студентов. – Спросим себя: сей дикефал дибрахиус или, лучше сказать, диптериус, имеющий две головы и два крыла, – каким образом он ухитряется так хорошо социально функционировать и оставаться таким адаптивным, таким, я бы сказал, скомпенсированным и столь долгие годы быть на плаву... то есть, я хотел сказать, в полёте? Ведь нет никакого сомнения, что наш орёл – орёл наш! – Чурбанов хлопнул по доске ладонью и вышиб из неё тучу мела, замахал рукой у лица и притворно раскашлялся, – да нет, непритворно, простужен в хлам, да ещё и с бодуна. – ...Что орёл наш ле-та-ает, да ещё и как! Для обеспечения дыхания в

полёте у нашего орла-дикефала не просто четырёхкамерное сердце, – нет, он снабжён природой или, может быть, историей уникальным восьмикламерным органом, который позволяет дважды разделить отработанную кровь и кровь, насыщенную кислородом. Подчёркиваю, в отличие от млекопитающих, у нашего двуглавого орла, как и у его одноголовых – кхех-х! – коллег, сохранилась правая дуга аорты, дикефалия же делает происходящее особенно пикантным, так как эта правая дуга должна в каком-то месте разделяться опять-таки надвое...

Слушали уже меньше, Чурбанов умел увлечь, но не умел держать аудиторию. Притом и холодно, спать охота, позавтракать хочется, и кое-кто нетерпеливый уже достал бутерброды, обёрнутые в салфетку, или просто куски белой булки, и термос (у кого есть). Ничего нет у Чурова, но в кармане, среди трухи и тлена, завалилась жёлто-зелёная эвкалиптовая конфетка, вся примёрзшая к фантику. Чуров рассеянно попытался отодрать от неё хотя бы часть бумажки, но потом ему надоело, и он отправил её в рот как была. Тут же расцвёл на языке эвкалипт, взошло невидимое яркое солнце.

Сверху же и с боков темнотища давила на Гербариум, мороз был такой, что в трупарне коченели господа, пре(до)ставившиеся студентам для вскрытия, а над крышами в луче прожектора плясал и вился снежный прах. Полуживой город вставал, во тьме колотил по будильникам.

– Пищеварение двуглавого орла происходит быстро и энергично, – ораторствовал между тем Чурбанов. – Наш герой может своими двумя клювами растерзать за свою жизнь не менее ста сорока миллионов... простите, килограммов живой массы... Не мешает ли дикефалия охотиться на живую снесь и не делает ли она орла поневоле падальщиком? Что ж, вопрос спорный! Учёные пришли к выводу, что рабочей головой является голова прежде всего западная, восточная же кормится только остатками уже умершей добычи.

– Про перья что скажешь? – подал голос приятель Чурбанова Морозов, который, вероятно благодаря своей фамилии, нормально чувствовал себя при минус четырёх в помещении. – Линяет или нет?

– А-хотно ат-вечу на ваш вопрос, – слегка согнулся Чурбанов, даже слегка и переигрывая в Ендрикова, – орёл наш линяет непрерывно, круглогодично. Некоторые особи успевают сменить за год до пяти комплектов оперения... Перья, уважаемые господа, есть превосходный лётный фю-зе-ляж нашего сегодняшнего экземпляра... Его воздухоплавательные характеристики – шедевр отечественных оборонных технологий. Каждое перо двуглавца обладает набором доселе не разгаданных свойств, вплоть до того, что внутри трубочки данного пера, как показал опыт, находится смесь газов, делающая орла легче, а сама ость пера выделяет, да бу-дет вам из-вестно, специальную смазку, снижающую трение и увеличивающую скорость... Эргономичность двуглавого орла такова, что он может, в случае необходимости, развернуться в воздухе на полной скорости, совершив бочкообразный поворот... Что же касается нейрофизиологии...

Чурбанов сделал паузу и как будто забыл про собравшихся студентов, как и они про него уже давно, почти все, кроме Чурова.

– Что касается мозга, то давним спором учёных... следует считать... – не является ли мнимая дикефалия на самом деле лишь примитивным расщеплением, которое путём контрпроекции орёл навязывает и нам, его наблюдателям? Быть может, на деле голова только одна, но орлу кажется – и он внушает свою галлюцинацию нам, – что голов две? На деле же просто орёл болен, он болен шизофренией, но умело диссимулирует недуг, заставляя нас думать, что дело в некой анатомической детали, которая на самом деле ат-сутствует. Или же, как считает группа австралийских учёных, заснявших поведение орла на сверхчувствительную киноплёнку, орёл просто настолько быстро вертит головой туда-сюда в невротических колебаниях – куда податься? – что почти ни один из наших современных приборов пока не может уловить эти движения его мускулатуры? В таком случае мы могли бы назвать нашего орла орлом Буридановым, находящимся в вечных сомнениях амбивалентности. И имеет ли тогда значение, что такое, в сущности, его дикефализм, – глубокий ли он невротик, шизофреник, или же он воистину двуглав? Ведь результат один и тот же... Да и что такое, вообще говоря, реальность? – Чурбанов возвысил голос, вернее попытался возвысить, и снова раскашлялся. – Что есть, господа, так называемая ре-альность? – Следует ли учитывать в своих представлениях секундное состояние объекта, его поведение в течение времени наблюдения – или же его, так сказать, поведение в вечности, которое никакими наблюдениями невозможно зафиксировать? Если речь о последнем сказанном, – то двуглавый орёл есть, конечно, феномен не всецело

физиологии, анатомии или даже психиатрии, – но...

Гул вдруг поднялся снова, Чуров поневоле разлепил глаза: в дверях давно уже стоял припухший Ендриков со своей огромной дамской сумкой через плечо.

Чурбанов, бросив «спасибо за внимание!», сбежал с кафедры и, сложившись втрое, разместился за первой партой. Сунул руку Морозову. Ёжась, запихнул руки в карманы и застыл.

Ендриков взлез на кафедру, мельком глянув на пыльный абрис орла, взъерошил волосы под шапкой, раскрыл методичку и голосом, чрезвычайно похожим на голос Чурбанова, но чуть менее карикатурным, продолжил:

– И-та-а-ак... На прошлой лекции мы остановились... н-на-а-а...

Чурбанов, усевшись, немедленно ощутил, как оседают внутри взболтанные частицы и как – всегда именно так – в неподвижности и молчании наваливается на него скука, тощища, угроза даже. Так бывало и в школе, так бывало везде. Неподвижности, бездеятельности совсем не выносил Чурбанов, ему было нужно, чтобы ноги ходили, нужно было разговаривать, что-то непрерывно предпринимать, потому что как только ты останавливаешься, тебя настигает как будто какой-то руин. Это был такой робот в какой-то фантастической повести, он преследовал человека медленно, но неуклонно. Чурбанов даже придумал игру про этого руина: вода должен был преследовать других учеников пешком, и из-за узкого коридора это ему удавалось; кого вода салил, тот сам превращался в руина, и вот в конце стая таких руинов с остекленелыми глазами шла за Чурбановым, а он нёсся по тусклому коридору, к концу, и там стоял, понимая, что теперь уже он не проскочит, – и только звонок спасал его от ужаса.

Вот и теперь надо было непременно что-то поделать, потому что иначе: под замёрзшим ледяным потолком заиндевшая паутина, мороз забирается под рубашку, пальцы в ботинках коченеют, доска, похожая на зелёную обледенелую лужу, упадочный Ендриков, бубнящий по методичке, – Чурбанов в замешательстве сунул ручку в рот, залез в сумку, достал конспект – но там шаром покати, конспект растрясён на разрозненные бумажки: вместо одной листовка Митрохина, партия «Яблоко», в другую завернуто конфеткой что-то неведомо белёсое, на третьей нарисован план о шести пунктах со стрелочками, ниже столбиком наспех умножены цифры с нулями. Конспект был раздёрган на

жизнь. Чурбанов, чертыхаясь, запихнул его обратно.

Надо купить нормальную тетрадку, подумал он и тут же мысленно оказался в канцелярском, распахнулся, навалился грудью на стеклянный прилавок – вон ту, в клеточку, с чёрной обложкой, где машинка, – а, это не машинка, а чёрное сердечко на золотом фоне, ну, тем лучше, – но что-то не то, – блин, до зачёта десять дней, когда в неё писать-то?

Чурбанов незаметно оглянулся. Полная аудитория народу. Конспект нужен ему сегодня. Здесь все его друзья, и про каждого он понимает: можно даже не пытаться.

– Дай листочек, – наклонился он к Морозову.

Морозов пожал плечами и выдернул лист. Ендриков успел уйти тем временем далеко и читал уже что-то совсем непонятное. Нить была потеряна. Поезд ушёл и прогудел.

– Морозов, а чуровского конспекта ни у кого нет?

– Не знаю, я ещё не ксерил. К нему весь поток в очередь стоит, здравствуйте.

– А кто ксерил? У того отксерить можно?

– Ксерокс хреновый на кафедре. У всех не видно ни фига. Чернила экономят. А позавчера вообще сломался.

– Это не проблема, у меня полно мест, где отксерить. Мне сам конспект надо. На пару часов.

– Иди у Чурова проси.

М-да. Проси. Ясное дело, что ничего просить у Чурова Чурбанов не будет. Да Чуров ему и не даст. А что так-то – проваливаться, что ли?

– Вот попал, – подумал вслух Чурбанов.

«Нуда, ты попал, – подумал не вслух Морозов. – Так ты же и на лекции не ходишь вообще. У тебя какой-то вечный то ли бизнес, то ли что. Чем ты там вообще занимаешься. Такие врачи разве бывают, как ты. Выпрут тебя, и правильно сделают».

После лекции Чурбанов догнал Чурова в тёмном снежном дворе. Впрочем, уже светало. Но всё равно был жуткий дубак.

– Чуров, дай конспект.

– Не могу. Все просят. Я сам когда буду учить? Почему вы тут всё сами нормально записать не можете. Почему я должен всё время всем конспекты свои давать. А тебе тем более. Ты вообще не ходил. Это вообще справедливо?

– Ну да, согласен, – согласился Чурбанов. – Я – не бесплатно. Скажи сколько. Просто за отксерить. Быстро. В удобное время. Я заплачу.

Он решал проблему. Бодро. По-деловому.

Чуров почувствовал прилив ненависти. Он остановился.

– М-м! – промычал Чуров. – Быстро... в удобное время... и-ди-на-хуй. На хуй! – он рывком сунул Чурбанову конспект, хотя десятую долю секунды назад не собирался этого делать, и пошёл своей дорогой, не слушая слов благодарности.

3. Мечтатели

– И о погоде, – сказали по радио приятным бархатистым голосом. – Завтра, в субботу, 16 октября, в Санкт-Петербурге ожидается, как и сегодня, облачная погода, местами слабый дождь, температура воздуха, прямо не верится, +19 – +21 градус... – слово «плюс» бархатистый голос произнёс с особой благодарностью. – Сергей, вы помните такие... такую погоду, чтобы в середине октября творилось такое... такая благодать?

– Нет, Лидия, я такого не припомню, – приятным баском отозвался Сергей. – И это не повод не поблагодарить уж не знаю кого, Илью Пророка или синоптиков...

– Да что там вы, молодые люди. Я тоже не помню, – сказала диджеям мама Чурова. – А чего уж и я не помню, того никогда не было.

Чуров и мама Чурова сидели у раскрытого окна и ужинали молодой картошкой с маслом и черным перцем. Погоды стояли действительно прекрасные. Даже не верилось, что середина октября. Пахло свежим ветром, горькими осенними травами, прелой листвой, дымом. Тёплые крыши в полосах ржавчины расстилались за окном. Солнца видно не было, но над всем Северо-Западом, не сдвигаясь, стояла розоватая теплая тишина.

– Ну и погода, вот так погода, – рассеянно сказала мама не в тему.

(Не в тему, ибо дальше там вот что: Ветер сшибает с ног пешехода. Но пешеход с чемоданчиком чёрным ветру навстречу шагает упорно. Что ему буря, что ему ветер, если распухло горло у Пети. Что ему слякоть, что ему лужи, если Андрюше становится хуже. Зной или полночь, день или ночь доктор торопится детям помочь.)

– А как ты думаешь, мам, – сказал Чуров, – такая хорошая погода не может значить что-нибудь нехорошее? Ну, быть признаком, например, климатических изменений на планете.

– Это у тебя синдром третьего курса, – сказала мама Чурова скептически. – Ты всех подозреваешь в болезнях. Даже погоду.

– Конечно, – оживился Чуров. – Нет людей, которые были бы не больны. Только некоторых это не беспокоит. Почему-то.

– Ну вот и погоду ничего не беспокоит. Только жаль, что дачу уже закрыли. А то можно завтра и съездить.

– Не, – сказал Чуров, – завтра мы в лес.

Мама вздохнула.

- Ты же не хотел ехать-то.

- Не, поеду, - Чуров тоже вздохнул. - Что теперь, не общаться с Аги, что ли.

- Ужасно жалко, что такая девушка...

- Хватит, мам, - сказал Чуров. - Нормальный он чувак. В чём-то круче меня.

- Чем?! - возмутилась мама. - Чем он крутой?! Что за гипноз, я не пойму?! Чем он всем так нравится?! Как был хулиган, так и остался... Его уже из института вышибли, а ты ему всё завидуешь. Ты врачом будешь, а он не пойми что. Сплошные выкрутасы, какие-то протесты непонятно против чего, ну это бы я ещё поняла, но он же при этом - очень даже, он при этом - себе на уме, он же свою-то выгоду всегда соблюдает и деньги очень любит, между прочим!

- Это да, - сказал Чуров. - Это точно. Деньги да.

- Ну и хватит его оправдывать. Он о тебе, скорее всего, вообще ни разу в жизни не думал.

- Да уж это конечно, - сказал Чуров.

- Ты только не обижайся! - спохватилась мама и пересела поближе. - Я же просто хочу, чтобы тебе было хорошо.

- Да мне хорошо, - заверил маму Чуров.

* * *

- И что он тебе ответил? - поинтересовался Чурбанов после небольшой паузы, глядя не на Аги, а на кирпичную стену, которая уходила отвесно вниз, к самому козырьку общаги.

Они тоже сидели на окне. Прямо перед ними, внизу, была всё ещё зелёная лужайка, на которой студенты иногда сушили бельё. Сегодня на верёвке колыхались разноцветные паруса жизнерадостных уругвайцев - семейной пары,

которая успела за годы учёбы, по очереди уходя в академ, завести двух коричневых малюток. Вокруг лужайки какой-то влюблённый чувак вытоптал тропинку в виде сердца. Смотрелось это забавно – сердце, в котором висят уругвайские трусы. Невидимое солнце светило как сквозь молоко, стена была тёплая.

– А почему тебя интересует, что он мне ответил? Ты что – ревнуешь?

– Да не ревную я, – Чурбанов плюнул вниз. – Просто завидую. Он такой правильный, что меня бесит.

Плевков пролетел всю дорогу на одном расстоянии от стены, почти не отклоняясь, и шлёпнулся на козырек тёмным пятнышком.

– Ну да, правильный, спокойный, традиционный такой, скучноватый, – согласилась Аги. – Хороший врач будет, сто пудов. Ты-то врачом не собираешься становиться. Что бесит-то? Он наверняка про тебя вообще не думает.

– Это уж точно, – сказал Чурбанов. – А насчёт врачом... если хочешь знать, я и на медицинский пошёл, потому что Чуров. Подумал – а что я, хуже?! Не знаю. Вроде и хуй бы с ним. Но в каком-то смысле мне таким чуваком никогда не стать... Не то чтобы я хотел... Завидую, короче.

– Вот и завидуй спокойно.

– Я спокоен!!! – проорал Чурбанов в окно и заржал, глядя, как женщина, которая шла по тротуару далеко за территорией общаги, вздрогнула и перекрестилась.

* * *

Бщ-бщ-бщ – пробормотал машинист в наушниках. Электричка лязгнула и тронулась снова. Развилку за Рожино миновали шагом и снова начали разгоняться. Мимо мелькали станции, полуразрушенные и выщербленные платформы, сосны и папоротники. Чащи смыкались за электричкой, как вода. Пахло травой. Леса стояли уже полупрозрачные.

Чурбанов высунулся в окно, и всякий раз, как ему надоедало захлёбываться то жарким октябрьским ветром, то мелким ярким дождиком, Чурбанов смотрел вниз, и всякий раз ему попадался на глаза Чуров. Тот же как будто не замечал Чурбанова, но на самом деле не мог решиться и посмотреть вверх; и когда, наконец, всё-таки поднял голову, то Чурбанов как раз снова всунул голову внутрь, глянул на Чурова, и они встретились глазами.

Лес был всё в ярких обрывистых листьях, уступах, каменных провалах и поворотах – вот вдруг справа блеснёт море, а в нём солнце, а вот мимо пустых, заброшенных санаториев, лагерей, деревянных скамеек под соснами въезжают они в пустынную местность, потом дорогу пересекает грунтовка в кипучих лужах, за шлагбаумом ни машины. Мелкий дождик налетел и смыл грязь, и вот они въехали на маленькую одряхлевшую станцию, где улочка вилась по пологому склону вниз, где росли вдоль заборов рябины, клёны и черноплодки, где в лужах красные листья и синее небо пятнами, где перелески осыпались, а в лабазе у переезда продавали сникерсы, водку и сгущёнку.

Они вышли из электрички всей толпой, а электричка, взывая и лязгая, отправилась далее, к Выборгу. Платформа была пуста. Вообще местность казалась пустынной. Но пахло дымом. Медики и примкнувший к ним Чурбанов прошли знакомой дорогой сквозь деревню. Там, за последним домом, на границе деревни, поля и леса, дорога всходила на пологий холм у старого воинского кладбища.

Кленовая рощица почти облетела, из травы острыми углами торчали листья.

– Красиво! – крикнула Юля и с размаху упала в листья.

К ней подбежала Алла и принялась забрасывать листьями сверху. К ним присоединилась Карина, а Марина влезла на нижнюю ветвь клёна, мечтательно перевернулась джинсами кверху и повисла, длинными волосами касаясь травы. Коля и Миша достали водку, а Чуров закуску. Что же касается Чурбанова, то он взял полиэтиленовый пакет и отправился в лесок за грибочками. Место это было давно ему знакомо.

Тогда Аги мотнула головой, откидывая чёлку назад, достала гитару и, бренча многочисленными фенечками, завела:

– Вечерело, пели вьюги, хоронили Магдалину, цирковую балерину. Провожали две подруги...

Будущий министр здравоохранения осторожно закрыл конспект и заслушал песню, подняв бледное узкое лицо, на котором ещё бледнее синели веки, а по бокам краснели уши.

– М-м, – сказал Чуров вполголоса.

Аги прихлопнула струны ладонью и чересчур громко переспросила:

– Что?

Кто-то разжёл костер. Чуров пошёл за хворостом в лес. Он ломал там сушняк, пока не нагрёл полную охапку, и потащился с ней к костру, а когда пришёл, все, кроме Чурбанова и его приятеля, сидели вокруг костра и мечтали вслух. Аги иногда пощипывала гитару, и та издавала слабые отдельно взятые звуки.

– Вот я бы хотела, – мечтала Юля, – чтобы посмотреть на человека и увидеть сразу, если он скоро умрёт. Скажем, какой-то индикатор. Ну, за месяц человек начинает мерцать, например, или светиться, и я раз – терапией его. И точка перестает мигать.

– Ты же сдуреешь так, – возразил ей Коля. – В семье тоже? Прикинь, если несчастный случай, предотвратить же ты не можешь.

– Ну, хотя бы только от конкретных болезней, – возразила Юля. – Всё-таки очень важное умение.

– Так и будет, – пообещал ей Чурбанов, глядя в небо, где вальсировали, прямо у него надо лбом, прехорошенькие диплококки рябиновых ягод, иногда начиная падать ему в рот, но он одним движением пальца ловил их и нейтрализовал. – Ты всё будешь видеть. Вот посмотри на Колю. Видишь? Он мигает, мерцает и светится.

– Уймись! – Коля несильно пнул его ногой.

Чурбанову уже казалось, что воздух приобрёл разную плотность: местами он стал густой, местами жидкий, как будто ячейки сети. По мере того как становилось темнее, погода делалась похожа на ту чёрную деревянную посудину, где по стенкам намалёваны тонкой кисточкой красные и золотые ягоды и листья. Потом вместо ячеек на тёмном воздухе стали приоткрываться форточки.

– А я бы хотела, – сказала Карина, – антибиотики подбирать быстро и эффективно. И сразу определять: нужен или нет, не назначать на всякий случай.

– Скоро вообще не будет никаких антибиотиков, – возразила Марина. – Резистентность же развивается. Будем всё генетическим редактированием лечить. Если уж такие мечты придумывать, то я бы как раз что-нибудь с генетикой хотела интересное. Чтобы, например, влезешь в геном бактерии, там меняешь что-то, и она как шёлковая. Сразу служит на пользу человеку.

– Какие-то вы скучные! – сказал Лёня. – Вот я бы просто хотел народ удивить. Бессмертием, чем же ещё? Просто таким самым обычным бессмертием. Вот это был бы номер! Первый случай бессмертия среди рода человеческого... Мне бы сразу все поверили, что я врач хороший...

– А кого ты этим удивишь? Все остальные ведь уже помрут, когда выяснится, что ты бессмертный, – Аги прильнула к гитаре (отблески костра заплясали на её лице) и щипком извлекла высокую резкую ноту.

Тут Чуров увидел, что хворост уже прогорает, и потащился снова в рощу. Водка казалась Чурову разбавленной и почти не пьянила. Зато Чурову очень хотелось жрать, но булка и колбаски уже кончились. Голодный Чуров долго шарил по сухой песчаной земле в шишках и корнях. Набрал огромную кучу сухих веток и понёс их к костру.

Когда он вернулся, мечтания и прения о мечтаниях были в полном разгаре:

– Я в твои мечты не лезу, и ты в мои не лезь! – наскокивал Миша на Юлю. – Женщины же считают, что их несправедливо обделили? Вот и я считаю, что

мужчин надо научить самостоятельно рожать! А то делаете что хотите!

Чуров зацепился кроссовкой о камень и рухнул почти в самый костёр, зацепив охапкой его край. Хватило и этого: огонь быстро взбежал по сушняку, повалил дым, сучья затрещали.

- Чуров! - закричал будущий министр здравоохранения, пытаюсь отогнать дым курткой. - А у тебя есть мечта?

- Интересно, кстати, послушать, какая у Чурова мечта, - сказала Алиса с дерева.

- Э-э, что? - Чуров как раз встал и стряхнул с рукавов паутину, щепки и кору. - Мечта? Э-э... погоди, не так сразу, дай сообразить. Ну, я есть хочу вообще-то, но это не мечта, а просто желание. А у него какая? Он уже говорил?

- Он хочет стать министром здравоохранения, - сказал Миша.

- Ничего подобного! - закричал будущий министр здравоохранения страшным голосом. - Я хочу младенцев оперировать прямо в матке. Фетальная хирургия.

- Заливаешь, - лениво отмёл Миша. - Ну так что, Чуров? А?

- Я сегодня безмечтовый, - сказал Чуров. - Хотя погодите. Одна мечта имеется. Знаете я чего хочу? Чтобы у меня с Аги сердца бились одинаково.

Аги медленно подняла голову. Откинула волосы с лица.

- А может, они и правда бьются одинаково. Мы же не проверяли.

- Вау, вау! - закричали Карина и Юля.

Кое-кто засмеялся, кое-кто переглянулся.

– Давайте проверим, – согласился Чуров. – Только недолго, а то сушняк прогорит.

– У кого секундомер на мобильнике? Мобильники в том году были уже почти у всех. Карина предложила свой. Юля взяла запястье Аги. Коля – Чурова.

– Семь, шесть... три... поехали, – скомандовала Карина.

Потянулась минута. Костёр трещал, пожирая ветки. Красные рябины висели над ними в тёмном безветрии. Клён ярко желтел в потёмках.

Минута прошла.

– Семьдесят четыре. Пятьдесят девять, – сказали Юля и Коля одновременно.

– Ну, нет так нет, – развел руками Чуров. – Тогда я за сушняком, – и он рысью устремился в рощу, хотя предыдущая порция дров ещё не усвоилась в костре. Почти бегом, через поляну, в горку и в темноту. Вот так так, вот так так, стучало у него в голове, это наша ёлка. Вот так так, вот так так. Ля-ля-ля ёлка, – бормотал Чуров, стараясь заглушить сердцебиение, – трали-вали... до чего нарядная... – он и правда набрёл с ходу на диагональную мёртвую ёлку, чуть не наткнулся глазом на сучок и принялся остервенело сдирать с неё руками сучья-крючья, как будто хотел запалить целый погребальный костер. Всё это он проделывал, потому что знал, что сейчас будет, и не хотел при этом присутствовать.

Когда он вернулся, выяснилось, что сердцебиение Чурбанова тоже ускало далеко вперёд и не совпало с Аги. Чурбанов несколько не был опечален, потому что уже прозревал сквозь реальность самую суть мира. Аги сидела в тени и безмятежно цепляла гитару то с одного, то с другого боку. Коля и Юля затеяли боевые пляски с пинками и хлопками по чувствительным местам. Все разбрелись парами-тройками. Марина снова повисла на клёне вверх ногами, вниз волосами. Ей нравилось видеть поляну перевернутой: трава тянулась к чёрной низкой воде неба, костёр горел, как солнце.

– Минутку, – Миша вдруг поднял палец. – Чуров! Мне пришла в голову странная идея. Только не надо меня критиковать. Чурбанов! Иди сюда ещё разок!

- Что за идея-то, - воспротивился Чуров. - Ты меня пугаешь.

- Да очень просто, - глаза у Миши блеснули. - Давай знаешь что? Давай уж заодно и твой с Чурбановым пульс сравним. Для ровного счёта. Карина, давай секундомер. Чурбан! Иди сюда.

- Да зачем, - возразил Чуров. - В этом-то какой смысл?

- Никакого! - ответил Миша. - Просто так.

Чуров пожал плечами, Чурбанову было пофиг. Они взяли секундомер и стали мерить. Мерили они три минуты. В конце первой Миша и Карина хором, но тихо сказали «пятьдесят семь», в конце второй неожиданно и вразнобой, но вышло у обоих «семьдесят один», а в конце третьей минуты они ничего не сказали, но переглянулись, и потом Карина спросила:

- Шестьдесят пять?

- Шестьдесят пять, - озадачился Миша.

- Ну и что ты, Миша, будешь делать с этим результатом? - спросил Чуров.

- Буду считать его совпадением.

- Пейте чёрное молоко, - сказал Чурбанов, - будете к чертям здоровы...

На воздухе мерцали светофоры со странными ободками вокруг фонарей. Что-то невидно, неслышно поблёскивало то ли с неба, то ли из леса.

- Да совпало просто, - повторил Миша.

- А я думаю, не просто, - сказала Карина и пристально посмотрела на Чурова. - Просто так три раза совпасть не может.

- Это не я, - помотал головой Чуров и оглянулся, в свою очередь, на Аги. - Если бы это был я, то я бы с Аги лучше совпал.

– Вы чего?! Вы образованные люди или кто? Что за средневековье! – напустился на них Миша. – Хотите, ещё раз измерим!

– Ну уж нет! – отказался Чуров и спрятал руки в рукава куртки. Глянул на костёр. – А! Мне вон за хворостом пора, – и пошёл снова в лесок, ещё не зная, что по возвращении его ждет приятный сюрприз: министр здравоохранения наткнулся на неиспользованную пачку сосисок. Аги увлечённо щипала гитару. Марина висела волосами вниз. Коля и Юля сидели на сухой траве у бревна.

Чурбанов внимательно смотрел на клён. Ему казалось, что дерево сплошь усеяно колечками от детских пирамидок: жёлтые, вот оранжевые, синенькие, – и внутри у каждого колечка одинаковый огонь.

4. Отец

На железной грохочущей каталке Чуров волок по коридору огромного старика. Живот под простынёй усох и ввалился, скулы торчали. Девятое отделение, в нём всё коричневое. Девятое отделение – зал в огромном старом доме. Потолки восемь метров. Огромная люстра в засохшей паутине, с померкшими пыльными стекляшками. От люстры в разные стороны разбегались трещины по потолку. Лампочек в люстре было немного, поэтому светила она тускло. Но круглосуточно. Видеть люстру могли все обитатели девятого отделения, за исключением тех, кто не видел ничего по причине полной слепоты. Внизу под люстрой помещалось три ряда по двенадцать коек, да ещё пять коек за проходом у стены, итого – сорок одна койка, и на каждой лежали люди. Серые простыни прямо на ржавых сетках кроватей, так что моча просто стекала на пол. Привыкнуть к запаху было невозможно. Отмыться до конца тоже.

Чуров переложил старика на свободную койку и отправился за аппаратом ЭКГ. Это вот как раз и была чуровская обязанность – слушать сердце. А заодно приходилось «писай дедуля ну вот и умничка», потому что санитарок и медсестёр не хватало. Аппарат стоял в подсобке, она же кладовка, она же кухня для персонала. Замызганный электрочайник пытел на клеёнке. Аги, которая тоже проходила здесь практику, насыпала чай в чашки. Глаза у неё по-прежнему были артистически зачернены, но фенечки с запястий сошли. Но надо ещё сказать, что это был за чай и что за чашки. Одна чашка – треснутая, с

васильками синими и золотым ободком. Другая – с цветными мультяшными зверьками, поменьше, видать, детская. Обе без ручек. А чай – сероватая пыль, и клала Аги по чуть-чуть, щепотку, так что получался и не чай, а розоватая вода, а в ней пыльца, взвесь.

– Бог есть, – сказал Чуров без предисловия.

– Бога нет, – сказала Аги.

Оба всегда были готовы поспорить на эту тему. Аргументы они приводили обычные для их молодого возраста.

– Ну вот смотри, – наступала Аги, – вот если бы Бог был, разве бы Он Допустил всякие разные там Страдания? Значит, Его Нет. Или Он не Всесилен, или Он на Стороне Дьявола. (Большие буквы, очень большие. Аги зырит не на Чурова, а в чашку, где пёстрый мелкий рой чаинок крутится в сером кипятке. Аги пьёт из той васильковой, а Чуров из маленькой цветной.) – Вон Ирина Иванна вчера когда. Что в это время делал твой Бог? А-а, значит, ребёночка спасал? Значит, Он не Всесилен? (И так далее.)

Поспорив немного и допив чай, шли снова работать.

– Дед новый? А он без документов, – крикнула Инга Ефимовна, пробегая мимо, – даже как звать не знаем! Нашёлся на автобусной остановке, на автобус пытался сесть, а они не ходят там давно! Может, бомж! А может, потеряшка! Дементный, в маразме! – Инга Ефимовна была выгоревшая врачиха, жестяная, страшная, с дырками вместо глаз и воронкой вместо голоса.

* * *

На самом деле потерялся дед не случайно. Его сын вывел в город и там оставил. В сказках всё было наоборот – родители ребёнка в дремучий лес. А тут сын папу в недремлющие городские джунгли. Деду семьдесят восемь, сыну сорок восемь. Здоровенный мордатый дядька, отставной полковник. Жена «на старости лет» забеременела вторым ребёнком, а квартира маленькая, вот и решили избавиться от лишнего члена семьи.

– Уж и так и сяк нагибал её, что на хуй нам не нужен второй ребёнок, а она ни в какую, – жаловался мордатый экс-полковник друзьям за пивом. – Ревёт и всё. Ну, я ничего не могу сделать. Не знаю, что делать вообще. Квартира тридцать восемь метров. С папашей уже намучился, альтигеймерный, пытался сдать его, не берут никуда против его воли. Месяц, и обратно везут. Старший подросток уже, двенадцать лет, от рук отбивается. Уроки каждый день со скандалами. В телефон залипнет, и всё. Не дом, а дурдом.

– Ну что значит – не берут? А ты его приведи и оставь.

– На месяц, прикинь, только! Бля... Без согласия только через суд... признание недееспособным... а он бля прикидываться умеет, что соображает. Или, говорят, если нет возможности, там, уход обеспечить... А мы типа вместе живём – значит, по их понятиям, уход есть. Ну, такие законы... Главное, он ни в какую. Ну как вот, на тридцати восьми метрах? Ты бы смог? Тут или ребёнка рожать, или с папашей возиться. Сразу со всеми, это я сам тогда застрелюсь.

Вот так и решил отставной полковник потихоньку избавиться от папаша. В первый раз нашли, позвонили из милиции – ваш бродяжничает? Наш, конечно, наш, уже с ног сбились. Ага. Сбились с ног. На следующий вечер снова вывел, отвёз в другой район на всякий случай. Пуцай снова приведут – пришлём ему бродяжничество, можно будет написать, что уследить не можем. На этот раз что-то пока никто не звонил. Мордатый отставной полковник был доволен, хотя и не совсем спокоен; чтобы немного улеглись нервишки, затеял уборку. Вытащил и снёс к лифту, под циферку 19 (номер этажа): многотомник Дарьи Донцовой, тапки с китайскими точками (с надписью «уретра» и стрелочкой на подошве), конспект Владимира Ильича Ленина, сделанный в 1983 году (крупноформатная тетрадка, и в ней круглым крупным почерком с нажимом). Вынес старый, поеденный молью пиджак, множество пыльных пустых банок, бамбуковую удочку и дырявую резиновую лодку (дед любил рыбалку), а заодно сломанный пластиковый снежок с балкона.

Таскал-таскал и не заметил, что ночь уже на середине. После лёг спать и не видел снов. Ветер свистел и выл в скважинах, хлопал дверью балкона, дедова лежанка пустовала, но как будто так и надо. Сын ничего ни разу не спросил, а жена и так всё понимала. (Одно в ней хорошо – молчать умеет. Иногда.)

А утром, в шесть утра, в дверь позвонили. Он спросонок и не понял – что делается. Но позвонили снова, настырно так. Мордатый отставной полковник

встал, посопел и пошёл открывать. Но только лишь распахнул внутреннюю дверь (отчего сразу взвыл ветер в скважине двери внешней), как послышался громкий топот – и, пока возился с замком внешней двери, в коридоре уже никого не было.

– Ублюдки малолетние! – крикнул полковник вслед и тут обнаружил на полу листок. Тетрадный, в линейку. А на нём было написано:

«Абортировал родного отца? Твоя жена родит сиамских близнецов с двумя головами». Без подписи.

* * *

Чуровская обязанность – это была ЭКГ. На одного человека уходило примерно минут десять, а стало быть, на всех обитателей девятого отделения (а оно неизменно полно) – четыреста десять минут, иными словами, чуть меньше семи часов. На деле получалось, конечно, дольше – потому что Чуров ведь не только ЭКГ снимал, персонала-то не хватает, так они с Аги помогали всегда и насчёт «дедуля пописай», а если что, возили тряпкой по полу под кроватью, и тряпку эту стирали, и помогали ходячим добраться до чёрного туалета, и даже покурить кое-кому держали, кто привязан или сам не может, за компанию глотая дым.

Это кому же покурить? А вот этому дедуле бродячему. Хорошо, что дедушку удалось положить не к стене. Которые лежали к стене, те очень быстро. И не видели ничего, только серую краску в трещинах. Вот как та Ирина Ивановна, которая считала, что у неё рак, и поэтому не ела. А у неё рака не было, а просто горе было, и померла она от горя. Просто перед ней была всегда серая стенка, и никто, никакое солнце, никакие люди, не могли её повернуть по-другому. Никакие силы.

Но дедуля не от горя должен был умереть, а от болезни сердца. И глядя на эту вот люстру. Чуров-то понимал, что да как. Но, может, ещё не скоро? Покурит пока? Чуров держал сигарету и давал дедуле затянуться. Стоял в облаке дыма. Да хватит уже называть его дедулей. Вон какое лицо. Исхудавшее, выжженное. Характерное. Кадык торчит. Коричневый весь, дублённый. Ну да, голова отказала, так это и с нами будет.

У Чурова и теперь голова не очень хорошо работала. Потому что Чуров страшно недосыпал все эти месяца. Засыпал он везде: на лекциях, за ЭКГ, клевал носом прямо в коридоре. Иногда ему казалось, что есть два Чурова. Один учится, а другой в это время делает ЭКГ полумёртвым старикам. И оба одновременно спят.

– Когда я вот буду старенькая, – услышал Чуров (и, вздрогнув, проснулся на продавленном диванчике в подсобке – на штаны вылился жидкий тепловатый «чай» из цветастой чашки с отбитой ручкой, держал-держал во сне, и накренилась), – когда я буду старенькая, – развивала тему Аги, – я просто возьму в один какой-нибудь момент и прыгну с Благовещенского моста.

– Почему – с Благовещенского? – насторожился сонный Чуров. – Почему не с Чёртова?

– Ой, ты ещё про бога мне начни втирать, – Аги насмешливо. – Здесь бога нет!

Чуров помалкивал, глядя в свою чашку, и вдруг увидел там отражение лампы – удивительно круглое, чистое, жёлтое, как кусок сливочного масла, если бы кому-то пришло в голову положить его туда, – в болоте треснутой щербатой чашки, в соседстве с мелкими, как пыль, тремя чайниками. Но почему же, – невнятная мысль, – лампа такая круглая? Ведь она прямоугольная, белая, лампа дневного света? Чуров оглянулся назад, посмотрел вверх и увидел в окне луну – жёлто-белую, немного неправильной формы, действительно похожую на кусок масла.

* * *

Нельзя сказать, чтобы отставной полковник с широкой мордой очень уж сильно перепугался. Поди докажи ещё. Он спустил листок в мусоропровод и постарался о нём не думать. Ну, это же всё равно что читать надписи на сигаретных пачках: импотенция, рак лёгких и прочая мутотень. Но, в отличие от пачек, над двухговыми близнецами почему-то думалось. Жене уже сорок. Ему сорок восемь. Вообще-то поздние дети часто рождаются... всякими там, не такими. И что он тогда делать будет? Опять же, эта история с дедом. Вдруг дед внезапно обретёт разум и даст показания, вдруг на него уже там где-нибудь дело завели? Хотя вроде – где там подкопаться... Нет, надо было уломать жену на аборт! Безопаснее...

Но сейчас уже поздно.

- Слышь, - попытался мордатый отставной полковник за ужином, - а ты ходила проверять, кого носишь?

- А что?! - удивилась жена. - Ходила. УЗИ делала.

- А вдруг уroda?

Жена насторожилась, возмущённо выдохнула через нос.

- С чего бы вдруг - уroda? - поинтересовалась она.

- Да не знаю, - разозлился полковник. - Какого хрена ты вообще забеременела на старости лет?!

Это был обычный тон разговоров между ними, поэтому жена не дала себе труда обидеться сильнее обычного. И тут раздался второй звонок в дверь.

- Пап, я открою! - прошумел в коридоре сын.

- погоди! - мордатый отставной полковник вскочил, чуть не опрокинув брюхом стол, так что пельмени выскочили из тарелки, и кинулся к дверям.

Он почти успел. Двери грузового лифта уже закрывались. Полковник выскочил на балкон лестничной клетки и ринулся вниз по заплёванной, плохо освещенной чёрной лестнице. Цепляясь за перила, он несся крупнокалиберным снарядом вниз по спирали. Стенки в доме были тонкие, и полковник мог слышать, как лифт проходит слои этажей, обгоняя его метров на десять. На третьем он услышал, как двери грузового лифта открываются, выпуская злоумышленника. Хватая ртом воздух, полковник рванул на себя железную входную. Мороз и тьма обступили его.

От подъезда скорым шагом удалялся, оставляя за собой облако дыма, молодой человек в пальто, высокий, широкоплечий, взлохмаченный, без шапки.

- Э-эй! - крикнул отставной полковник. - Ты чё, каво?!

Молодой человек обернулся, помахал тапком с надписью «уретра» и пошёл дальше. Полковник узнал его: Чурбанов с пятого этажа, то ли бизнесмен, то ли браток.

- Ещё раз! Поймаю! - надсаживая горло, завопил отставной полковник. - Найду! Мало не покажется! У меня люди!

- У тебя не люди, - негромко донеслось до полковника.

Загорелись огоньки тонированной девятки.

- Ничё не боятся, - прохрипел полковник. - Придёт наше времечко.

В глубокой задумчивости он нажал на кнопку 19 и добрался до своего этажа. Створки лифта разъехались, и полковник увидел перед собой сына с комком тетрадной бумаги в руке. Сын был очень бледен. Из квартиры доносились рыдания.

* * *

Чуров поднял деда, Аги помогла его раздеть. Сухая плоть тлела под грязной майкой. Чуров смазал густо-коричневую сухую кожу раствором. Наложил присоски на руки, на левую ногу, на грудь. Окно старинное, с медными затворами, краска выщербленная, карниз дырявый, ржавый, - огромное окно, крупнейшее. Подоконник широкий. На подоконнике... Чуров взгляделся и отвёл глаза. М-да.

Дед зашевелил губами и открыл глаза.

- Коля, - утробно булькнул он, покосившись на Чурова. - Когда пензия? По каким числам?

- Двадцать девятого, - прошептал Чуров, хоть он был и не Коля.

- Коля, - пробулькал дед, тараща глаза, - у меня это... болит это...

- Голова? Ноги, спина?

- Вот тут болит, - пробулькал дед и положил громадную заскорузлую руку на грудь. Рука ходила ходуном.

- Он на таблетках, возможно, - предположил Чуров. - Голос слышишь, ему горло сводит и губы. Без него беспокоится, спать не может.

- На галоперидоле он был, - сказала Аги.

Они выпрямились и нечаянно встретились взглядами.

- Может, лучше его вернуть, раз ты знаешь куда? - предложил Чуров.

Аги покачала головой.

- Некуда его возвращать. Только хуже будет.

- А можно меня из-под люстры перевести куда-то? - подала голос баба Валя. - Сматрикась там трещины какие. Как грянется на меня прям... Я спать не буду, я боюсь. А утром придут за мной, прийти должны. Там отдать должны, деньги-то. За телевизор.

Бабу Валю некоторые считали ведьмой - за то, что она, по слухам, умертвила двух человек. Но на вид в ней не было совершенно ничего зловещего. Это была древняя женщина, работавшая ещё в блокаду. Дочь и внук её умерли, но сильнее всего она переживала за аквариум и телевизор. Чуров иногда по её просьбе приносил белого хлеба. Однако хлеб всякий раз был не тот.

- Эта люстра уже давно там висит, - Аги. - Не бойтесь.

– А на окошке кто там у вас сидит курит? Это сестра ваша тоже? Скажите, чтоб не курила!

Чуров перевернул её, подложил поудобнее ветхое полотенце под спину.

– Никто у нас на окошке не курит, – Аги быстренько, и Чуров кивнул, и оба старательно отворотились от окна, потому что действительно сидит и курит, дым выпускает в неровную трещину-щель. И она, на подоконнике сидящая, посмотрела потом на люстру, и люстра покачнулась. Слегка. И трещины на потолке напряглись, набухли, как вены у бабы Вали.

(Чуров проснулся и обнаружил, что он на лекции. Положил голову щекой на парту. Внизу появился автомат по продаже кофе. Ново... введение... в кардиологию. И так, на прошлой лекции. Мы разобрали. А сегодня мы разберём. Толстая чуровская щека расплющилась. Её грел стоящий рядом тёплый коричневый стаканчик с мутным бурым кофе. Стенка стаканчика запотела. Левая коронарная артерия начинается из левого заднего синуса Вальсальвы. Чуров как во сне услышал голос лектора, он знал – надо бы приподняться и что-то бы да записать, да вот хоть кофе отхлебнуть. Она представляет собой широкий, но короткий ствол длиной обычно не более 10–11 мм. Мятная конфета жгла расплющенную щеку изнутри.)

Чуров вздрогнул и проснулся спустя две секунды в зале девятого отделения. ЭКГ пишется. А невидимая сестра, что на подоконнике, так и сидела себе нога на ногу, курила молчаливо и терпеливо. Ты своё дело делаешь, а я своё. За окном воздух сгустился до сини, сухо и морозно, мелкий острый снег начался, чуть подзамело по крышам, немного побелело. А в зале девятого отделения тепло и душно. Острый запах мочи немного разбавлен свежестью сквозняков. Старик лежал закатив глаза. Небритые щеки изменили цвет. Чуров быстро наклонился к нему.

– Отец! – позвал Чуров громко, потряс за плечо. – Эй! Не надо, вот это вот не надо... Эй, отец!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Купити: https://telnovel.com/buksha_kseniya/churov-i-churbanov

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)